

Комаров от военной темы снова перешел к тому, что его всегда волновало, когда он думал о родной стороне: труды и подвиги земляков во славу Родины. Так возникли еще два цикла стихотворений: «Новый перегон» и «Зеленый пояс».

Однажды, это было вскоре после войны, Константин Седых — товарищ Комарова по «Набату молодежи», более всего известный читателям как поэт, прислал ему сборник своих стихов «Первая любовь» с такой надписью на титульном листе: «Петру Комарову, поэту всея Сибири, с уважением...» И — стихи в полушутливом тоне, в котором обыгрывается название комаровского сборника «Хинганский родник»:

Есть, говорят, в горах Хингана
Святой поэзии родник.
Амурским стужам и буранам
Он покоряться не привык.
...Прошу: пошли чудесной влаги
В обмен за «Первую любовь»
Седому, хилому бродяге,
Певцу даурских казаков...

К. Седых. 13 марта 1946 г., Иркутск.

Итак, «поэту всея Сибири»... Да, с этим можно согласиться. И все-таки творчество Петра Комарова выходит за пределы края, области, региона. Это явление русское, национальное, ставшее достоянием всей советской поэзии. А сам поэт, с его необычной судьбой? Разве вся его жизнь не была примером горячего и страстного служения Родине, народу? Не случайно ведь в первый год войны с немецко-фашистскими захватчиками Петр Комаров написал свой «Кедр» — символическое произведение, построенное на противопоставлении двух различных отношений к жизни. Борьба, готовность противостоять бурям, умение пожертвовать собой ради общего дела — вот что выделил он в итоге как высший идеал.

Если мне придется умереть,
Кедром упаду я поутру.
Лучше сразу факелом сгореть,
Чем всю жизнь сгибаться на ветру...

Да ведь так оно и случилось. Мысль о беззаветном служении Родине, когда ты знаешь, что труд твой необходим, а цель, поставленная тобой, благородна и высока, много раз в стихах Петра Комарова находила свое образное воплощение. Но, пожалуй, особой глубины она достигает в его программном стихотворении «Золотая просека». Всякий раз, перечитывая его, ловишь себя на том, что все в нем будто внове для тебя, хотя каждая строчка известна давным-давно. И еще думаешь о том, что здесь выражен сильный, героический характер: «А жизнь велит: иди! Иди и не сворачивай с дороги, И что бы ни случилось впереди, Увидишь солнце на своем пороге...» Это ведь сам Комаров с его биографией, начиная от того первого шага, который он сделал юношей, уходя из зазейской деревни в сшитой матерью кумачовой рубашке...

Поэзия Петра Комарова — это лирика высокого гражданского чувства. В ней — философия нашей жизни, подлинная красота и сила человеческого духа.

Николай ЗАДОРНОВ

ЭТО БЫЛО В МАНЬЧЖУРИИ

Утром раздался громкий металлический удар, и мы с Петром, спавшие на письменных столах, накрытых шелковыми японскими знаменами в несколько слоев, одновременно проснулись. Но едва вскочили, как снова услышали мерный, гулкий удар.

— Что такое? — спросил Комаров. Он поэт, все остро чувствует, а я очеркист и должен быть достоверным в наблюдениях. Меня вдруг осенило:

— Да это же соборный колокол... — и отлегло на душе.

— Колокол? — спросил Комаров, быстро подходя к большому окну.

Собор, кажется, был напротив. Мы ночевали на втором этаже в пустом здании бывшего штаба японской армии, в опустевшем гнезде наших противников, мечтавших завоевать Сибирь и наш Дальний Восток, в самом центре бывлой антисоветской агрессии, в большой комнате, заставленной столами. Тут же японские пишущие машинки странного вида, с ящичками иероглифов и с вальками.

Спустя почти тридцать лет я был в Японии и узнал других японцев, и старого и нового поколения. Потом за десять лет написал три исторических романа об их предках. Книги были переведены и изданы в Японии, в них рассказывается о дружбе

в давние годы, когда захватнический японский милитаризм еще не существовал...

Итак, мы в Харбине. Прилетели, доехали из аэропорта в город на поданном нам «виллисе». Пока представлялись начальству, офицер, благоговевший перед Петром, имя которого было широко известно в дальневосточной армии, приготовил для нас одну из огромных комнат канцелярии бывшего штаба, и все жалел, что не мог накормить нас — время было позднее. Мы не огорчились, заснули крепко молодым сном, отдыхая после разъездов по фронту, и проспали до позднего утра, так как бывший штаб был пуст, будить нас некому. Хорошо, что в соборе зазвонили к утренней службе.

У Комарова есть стихотворение «Харбин»

— Ты припадаешь к запотелым окнам,
Дивясь всему увиденному тут...

Я не собираюсь уверять, что знаю истоки поэтического творчества Петра Комарова и могу объяснить, как писались его стихи. «Всякий талант неизъясним», — говорил Пушкин. Остроумный современный американский писатель на какой-то обычный вопрос, мол, как у вас соотносится в книгах творческая фантазия с действительностью, ответил, что это перепутано, как явь и сон. Как и почему все происходило в голове Петра и написано им — невозможно объяснить. Но у меня тоже явь путается если не со сном того времени, то с впечатлениями, поэтому я лишь попытаюсь уловить вспышки молний, помня, что по традиции обязан быть точен.

Харбин был занят советскими войсками. Мы прилетели не из Хабаровска, а с Первого фронта, из города Муданьцзяна, чтобы присутствовать на параде Победы.

Утром, не успев позавтракать, явились в штаб. Нас отправили в какой-то финансовый отдел, что-то вроде передвижного военного банка, и там выдали по две тысячи юаней. Теперь можно было идти куда угодно: завтракать, обедать, покупать сувениры (это потом, если деньги останутся). Оба мы в обычной одежде: в костюмах и при галстуках. На аэродромах и в штабах нас, не требуя документов, спрашивали обычно: «Вы кто такие, ребята, парашютисты, что ль?» Мы отвечали, что корреспонденты, и нас пропускали везде без задержки.

Тогда с Харбинского аэродрома можно было улететь на транспортных самолетах в Чанчунь, во Вьетнам, в Токио, в Москву и — куда угодно. Всюду летали наши самолеты. В помещении аэропорта слышалось то и дело: «Ребята, кто в Приморье?» Или: «Товарищи, кто в Токио?»

Харбин — город эмиграции. Уходя за рубеж, эмигранты оказались здесь на русской почве. В городе было значительное русское население, не имевшее в большинстве своем никакого отношения к контрреволюции, давно тут жившее бок о бок с почти миллионным китайским населением. Кажется, слово «Харбин» происходит от нанайского «хейбины», означающего какую-то ветвь нанайского народа. Все берега Сунгари до верховьев были заняты стойбищами нанайцев. Китайское население появилось тут гораздо позднее, а в годы строительства железной дороги сюда пришло много русских: рабочих, инженеров, техников.

В те дни, когда мы с Петром Комаровым ходили по Харбину, война почти закончилась. Маньчжурия была в основном освобождена. Советская Армия начала исполнять свой новый долг в Азии, долг гуманизма по отношению к народам Маньчжурии. Политработники, офицеры и солдаты стали друзьями тех, кто был долгие годы «на той стороне». Огромное большинство харбинцев тяготело к Советскому Союзу, к своей родине, и одобрительно отзывалось о ней.

Петр первым почувствовал эту перемену. В нем пробудилось рыцарское благородство, которое я видел у него в отношении к людям на улицах, на встречах, и в его стихах, прославляющих советского солдата и его подвиг, проникнутых чувством гуманизма к тем, кто увидел брата-освободителя в советском воине. Правительство высоко оценило этот труд Петра Комарова: за стихи о маньчжурском походе он получил Государственную премию.

В Маньчжурии было еще неспокойно. В расположении частей Первого Дальневосточного фронта в городе Муданьцзяне мы стали очевидцами артиллерийской канонады. Японская дивизия отказалась сдаваться, шли бои. Только через день мы увидели, как японцы складывают оружие. И так было не только в Муданьцзяне. Маньчжурия кишела разбежавшимися японцами и предателями-китайцами. Всюду рыскали хунхузы. Под городом Нингута мы встретили одного из таких беглецов, который при виде нас вылез из гаоляна. Он был японец и боялся, что китайцы убьют его, если он выйдет к ним. Он был юн, сух как щепка, голоден до крайности, и майор-переводчик и наш шофер с неодобрением посматривали в нашу сторону, пока мы с ним разговаривали, отлично зная, что одежда его кишит паразитами.

Ночи напролет над огромным Харбином время от времени раздавалась стрельба из автоматов.

На параде 16 сентября нас поместили на трибуне, где стояли маршал, генералы и представители харбинского муниципалитета, в сюртуках и в цилиндрах.

А под вечер на улицах появилась русская молодежь. Раздавали советским солдатам свежий номер журнала «Путь на родину». Взяли и мы. Петр пришел в восторг от стихов Веры Кондратович.

— Надо ее увидеть! — воскликнул он.

Мы пошли по Харбину, от центра, где дома совершенно такие же, как на окраинах большого губернского города, и такие же дощатые заборы.

НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ. ЭТО БЫЛО В МАНЬЧЖУРИИ

Веры Кондратович дома не оказалось. Открыл нам бой, китайчонок, поулыбался, поговорил по-русски, ничего не обещал. С нами был молодой военный журналист Константин Сорокин. Мы так и не увиделись тогда с Кондратович. А через год, когда наши войска выходили из Маньчжурии, Сорокин был уже в Хабаровске, и рассказал нам с Петром, что все-таки познакомился с ней, молодой поэтессой. Кажется, впоследствии она переехала в Свердловск.

А мы, опечаленные неудачей, брели по пыльной улице, и вдруг я увидел на одноэтажном деревянном доме огромную вывеску, какие бывают у портных. На ней написано большими буквами: «Хиромантка Вера».

— Послушай! — схватился за блокнот Петр и дальше шел, не слушая нас, о чем-то глубоко задумавшись:

...Она пресила Веру-хиромантку
О будущем России погадать...

Вспоминается берег Сунгари. Вот они, воспетые поэтами китайские джонки и лодки рыбаков, с цветными соломенными или грязными тряпичными парусами. Они всюду от Гонконга и Макао, Сингапура и до устья Сунгари. Тут и сами китайские рыбаки. Русский мальчик сидит на скамейке и смотрит на закат за рекой. Сунгари вздулась, она в разливе: прошли большие дожди. Накануне мы видели, как месили грязь на фронте солдаты. Мы насмотрелись на моря грязи. И подвиг солдата был не только в стрельбе и атаке, но и в долгих изнурительных переходах. Он был и в умении держать в порядке оружие и, сколь возможно, одежду. Петр воспел советского солдата, перешедшего сунгарийские болота:

Бездонные топи. Озера. Болота.
Зеленая, желтая, рыжая мгла...
Здесь даже лететь никому неохота.
А как же неохота все это прошла?

Много было встреч с китайцами. И Петр Комаров, и я — оба мы выросли на Дальнем Востоке, и для начала контактов могли сказать несколько фраз по-китайски.

Многие китайские пособники японцев, как и сами японцы, первыми приспособились к новым условиям и быстро преобразились в наших друзей, говорили нам остроумные комплименты. В большом городе полно всякого народа. Вот идет изможденный, искурившийся опиумом китаец, размахивает кипой японских дамских кимоно, по-видимому награбленными, и кричит нам:

— Купи! Купи!

Лодочник «юли-юли» предлагает ехать за Сунгари, но мы отказываемся. Уже поздно. Вечером у нас выступление перед нашими воинами. На встречах Петр читал стихи, а я рассказывал про свою работу в Комсомольске-на-Амуре.

А над скамейкой, на которой сидит русский мальчик, — статуя Пушкина. Русская мысль и память. За рекой видны чьи-то виллы. Богатые и красивые, вода подступает к ним вплотную.

На одной из центральных улиц встретили Джапаридзе, ведавшего рыбной промышленностью Дальнего Востока. Он в пиджачном костюме с орденами.

— Задорнов! Это ты! Что ты так ходишь по Харбину? Надень на себя хоть орден.

Но ни у Петра, ни у меня не было орденов, только после событий в Маньчжурии его и меня наградили медалями «За победу над Японией», как и всех наших товарищей дальневосточных писателей, принимавших участие в тех событиях: Юлию Шестакову (она оказалась в самой гуще боев), Николая Роголя, Дмитрия Нагишкина и Анатолия Гая, которые прошли по Сунгари на кораблях Краснознаменной Амурской военной флотилии.

Ради интереса вошли мы в ресторан «Олимпия». Встретивший нас хозяин, подражая японскому произношению, называет его «Оримпия», и так же, с ошибкой, он написал это слово на вывеске... Обед не был роскошным, хотя, кажется, ресторан известный.

Харбин с трудом оправлялся от многолетнего голода времен японской оккупации. Наши солдаты повсюду в деревнях и городах подкармливали китайских детей, командование помогало населению, муниципалитеты не сидели сложа руки. Оживали живописные китайские базары.

— Василий Николаевич!

— Петя! Николай Павлович!..

Вот встреча! На харбинской улице. Василий Высоцкий, наш друг, известный хабаровский художник, во время войны служил в армии. На нем — форма лейтенанта, он тут со своей частью.

— Ну, ребята, куда бы нам пойти?

Открыли дверь в первую же китайскую харчевню. Китаец засуетился, повел нас в отдельный кабинет. У печки за тряпичной занавеской — грязный стол; появилась бутылка вонючего ханьшина. Знаменитых китайских пампушек не было, так как из Маньчжурии вся белая мука давно уже вывезена японцами. Подали галушки, плоские, жесткие, из черной муки, которую китайцы прежде, до японской оккупации, не ели.

Вдруг занавеска приоткрылась, кто-то заглянул раз, потом другой. Через некоторое время тряпку подняли, вошел патруль нашей армии. Три человека.

— Товарищ лейтенант, — грозно сказал офицер, обращаясь к Высоцкому, — предъявите документы! Почему вы здесь?

— А в чем дело? — спросил Высоцкий. — Разве мы нарушили порядок?

— Не положено. Прошу оставить помещение, — приказал офицер. Высоцкий побагровел. Обиженный и разгоряченный, он вступил в спор.

Нетрудно было понять, что происходит. Я обратился к офицеру, объяснил ему, кто мы такие, показал удостоверение, выданное Главным политуправлением Красной Армии. Затем кивнул в сторону Петра:

— А это известный советский поэт Комаров. Читали его?

Начальник патруля преобразился. И, понизив голос, спросил:

— Что же вы, лучше места не нашли?

Однажды вечером, после выступления перед солдатами и офицерами, мы приехали в аэропорт, чтобы лететь домой.

— Вы парашютисты? — задал привычный для нас вопрос кто-то из офицеров комендатуры. Мы представились, и опять раздались восторги и похвалы в адрес Петра Комарова. Затем вышли на летное поле и долго ждали посадки. Солнце палило, день был жаркий. Нам опять предстояло лететь вдоль железной дороги над Хинганом, и хотелось бы засветло. Чего же мы ждем? Стоит много самолетов.

Вот идет на посадку «дуглас». Прошла группа военных: идут гуськом, в два ряда. Впереди — советский офицер, за ним отряд китайских военных. Таких мы еще не видели. Встречали в тайге и на фронте китайцев-партизан и командиров партизанских отрядов. Это все сухие, обычно небольшие ростом люди. А тут уже не очень молодые и все с крепкими боксерскими шеями. Это новая могучая сила, китайские военные командиры, прибывшие для формирования новых соединений, которые продолжат освободительную борьбу китайского народа.

Ну а что же сувениры? Мы их везли. Нам подарили японские трофейные сабли. Это были не самурайские мечи, но все же холодное оружие, с которым обычно японские офицеры не желали расставаться при сдаче: длинные офицерские палаши, отличной стали, в блестящих стальных ножнах. Огнестрельное оружие они сдавали без сожаления. Впоследствии, уезжая с Дальнего Востока, я отдал свой меч в музей, но его теперь там нет. Где же меч Петра Комарова?

Вечером самолет наш приземлился где-то в Приморье. Сели на пашню, среди лиственного леса, тогда еще не рубленного. Рядом стояло русское село, прекрасные крестьянские дома. Народ сытый и работающий. Несколько наших спутников офицеров простились с нами и вылезли, выгрузили для своей воинской части несколько пустых канцелярских шкафов. Самолет вновь взлетел и ночью сел на одном из аэродромов близ железной дороги. Нас отвезли на станцию. Утром мы уже ехали поездом в Хабаровск, стояли у окна и впервые за всю поездку разговаривали о своих домашних делах.

Аккорды поэзии полились потом из под пера Петра Комарова, когда он, больной, вспоминал свои впечатления:

...Снова мы здесь,
На сопках Маньчжурии снова...

Звучал в его ушах старинный вальс, к которому он написал новые слова:

И снова вокруг непогода шумит,
Бойцов провожая сурово...

Иннокентий ЛУГОВСКОЙ

БЕЗ ТЕБЯ

Памяти поэта Петра Комарова

Лишь апрель наступал и кострами
дымился,
Лишь Амур начинал громовой свой поход,
Ты вставал и с утра тосковал и томился,

И обзванивал пристань:
— Когда ж пароход?
Не прошел еще лед? —
И я видел — досада
Бороздила надбровье, глаза леденя.

— На верховья бы надо,
На низовья бы надо,
Понимаешь, весна!
И придет без меня!

И ходил и смотрел часовым неустанным
На Амур, все заливший собою окрест.
И весь вечер кряхтел над своим
чемоданом,
Словно он, чемодан, ускоряет отъезд!